

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

4



2009



## ПОСЛЕ ПРОЧЕРКА

Лидия Чуковская. Прочерк. М., «Время», 2009, 576 стр.

**П**убликация книги Лидии Чуковской «Прочерк», которая впервые вышла отдельным томом, — это сигнал: книга пробует найти «читателя в потомстве». Попытка, как ни горько сознавать, снова может оказаться «несвоевременной». Страна устала от истории-как-она-есть. Ей опять нужны мифы.

Под матовой обложкой с портретом молодого автора — концентрат горя, ужаса, вошедшего в повседневный быт, убитых надежд. Эта книга не завершена и, пожалуй, незавершима. Она не призвана быть законченным «произведением искусства». Скорее — способом изжить боль.

Главная цель, которую Чуковская ставит в «Прочерке», — записать, что помнит о супруге Матвее Петровиче Бронштейне, расстрелянном в годы «ежовщины»: «Собственную Митину память и собственную Митину волю и Митино будущее 18 февраля 38-го года убили. Меня и мою память — нет. Крупицами своей памяти под напором воли пытаюсь я заполнить пустоты — прочерки! — казенных справок».

Читатель постоянно ощущает ту железную линию, которая делит судьбу автора на «до» и «после» ареста Мити. «Тридцать седьмой ещё не наступил — он ещё только вот-вот наступит. А я хочу ещё немного подышать воздухом кануна...» То и дело звучит оговорка: «Я была ещё тогдашняя, не теперешняя».

Арест мужа стал для Чуковской переходом от жизни — к не-жизни. От настоящего — к минувшему, памяти, писательству... Цитируя Ахматову, она называет себя стаканом, закатившимся в щель «во время взрыва в посудной лавке». Автор «Прочерка» смерть уже пережил.

Взгляд Чуковской внимателен к детали, писательски цепок, хотя «Прочерк» — скорее документ, чем литература.

Вначале мы видим почти безоблачную хронику. Любовь. Совместная с мужем работа над книгой «Солнечное вещество»... То, что было счастьем, останется таковым без примеси мрака. Первые главы — память о той поре, когда Матвей Петрович, молодой талантливый ученый, слышал гул призвания, а гул времени — еще нет: «<...> Митя, в разговоре с общими друзьями или даже наедине со мною, прислушивается не к нашим голосам, не к спору, в котором только что принимал живое участие, а к внезапно, быть может, помимо воли зазвучавшему в нем голосу. „Что с тобою? Куда ты подевался? Голова заболела?“ — „Нет, — отвечал Митя смущенно, — но, понимаешь, задача все не решалась, не решалась, а вот сейчас внезапно почему-то решила решиться“. И он украдкой <...> выхватывал записную книжку, а если мы наедине — откровенно бросался к столу».

Благодаря авторской вере в силу слова прошлое возвращается в настоящее. Возникает зыбкий, прозрачный портрет Мити: «Я любила смотреть, как он, с пером в руке, поднимая голову над откинутой доской и листом, — думает. Недвижность, застылость — лица, глаз. А, вот он что-то ухватил: да, вот движение зрачков. Значит, приближается движение руки. А-а! Вот уже и рука побежала: „И пальцы просятся к перу, перо к бумаге“, и рука едва поспевает угнаться за мыслью».

А потом пришла эпоха, когда, по словам Чуковской, «опасно было — жить».

Ночной обыск в квартире увиден растерянными, еще неопытными глазами автора: «Пока они были здесь, мне казалось, что — стоит им только уйти — я пойму. <...> Но вот я сижу одна и не верю в случившееся — слишком глупо! искать у нас оружие! И отравляющие вещества вместо солнечного!»

Когда повествователь сталкивается с новым, жутким опытом, то ощущает, что передать произошедшее почти невозможно. В том числе родному человеку, Мите: «Главное — понять. Я сбивалась. Как объяснить ему белесый, оструганный затылок (сотрудника НКВД. — Ф. Е.), рукописи в ключьях на полу, бурые печати на дверях. Но не в этом ведь дело. Я хватала карандаш, но и карандаш, хоть убей, не помогал уяснить мысль». Все попытки спасти Митю оказались тщетными. Вскоре его арестовали, а потом расстреляли. Наступило «после». Все мы — тоже живем после.

Постижение абсурда мучительно. Человек сопротивляется тому, что его опыт бессмыслен. «Зачем?» — вопрос-лейтмотив «Прочерка». Желание понять, выговорить, объяснить себе, что произошло со страной и людьми, преследует автора: «Одно только непонятно — зачем? С какой целью? Зачем? Зачем, в самом деле, брать человека, заведомо неповинного, и бить его до тех пор, пока он не сознается, что намеревался взорвать Смольный?»

Социальный эксперимент? Моральное уродство? Паранойя власти, которая утопает в крови и может самоутвердиться только еще большей кровью? И опять, опять: «„Зачем?“ — об этот вопрос все мы стукались лбами, как баран о забор. Вот если в НКВД проникли вредители, тогда понятно. К тому же мы ещё не заметили в ту пору, что сажают не только лучших, но и худших. Что сажают вообще пассажиров трамвая № 9 или № 23 — всех без разбора <...>».

В то же время Чуковская приводит бесстрашные слова друга семьи, Г. Иегудина, сказанные с глазу на глаз уже тогда, в самый разгар репрессий: «Аресты подрывают культуру, хозяйство, промышленность, но не власть <...>. Напротив, они мощно укрепляют её. Машина работает совсем не зря и не вхолостую. Тот конвейер <...> — часть машины, у которой есть свое плановое задание. Она вырабатывает не автомобили, не сталь, а страх».

Наиболее узнаваема в «Прочерке» именно немота, в которой совершаются преступления, могильная повседневность «пира во время чумы»: «Город жил своей обычной жизнью: работал, учился, влюблялся, читал газеты, отдыхал, слушал радио, ходил в театр, в кино, в гости. <...> Весело встречал Новый год... Быть может, это и было самое страшное».

Самые пронзительные страницы «Прочерка» — отчаянье автора, срыв в бессильный крик: невозможно объяснить жертвам, что их ведут на убой. Что «дым без огня» — бывает. Что «врагом народа» может стать каждый.

«А пока что тянется и тянется на Литейном, по левую мою руку, Большой Дом. <...> машины с погашенными фарами спускаются иногда с моста <...> это нового врага настигли в постели и привезли в тюрьму. <...>

— Вот мы их всё браним, — говорит моя спутница (жена арестованного, которая одолжила Чуковской платок. — Ф. Е.), кивая со вздохом налево, — а ведь и их пожалуй надо: работают всю ночь напролет.

Работают?

Кого они там сейчас истязают? Её мужа? Моего?

Я не нахожу ни слов, ни дыхания. Ненависть перехватывает горло. Я сдираю с себя принесенный ею платок, два или три раза хлещу её по плечам, по голове, швыряю платок наземь и пускаюсь бежать, оставив мою благодетельницу ошеломленной.

Я не знаю, что больше потрясло меня в тридцать седьмом: зверства властей или степень человеческой глупости?»

Но если искренняя «глухонмота» — черта многих современников Чуковской, то — что сказать про сегодня? Для нового читателя реалии «Прочерка» далеки, как эпоха Владимира Красное Солнышко. «Политические репрессии» — каменный уголь истории, глава в учебнике уборым шрифтом.

«Большой Дом» (ленинградское здание ОГПУ), мимо которого почти буднично спешили герои «Прочерка», возможно, покажется «непуганому» чем-нибудь вроде «Большого Брата» из произведения Оруэлла. Чуковская пишет, как женщины выстаивали бесконечные тюремные очереди, сутками дожидаясь «своей буквы», на которую начинается фамилия мужа, родственника, друга или подруги... Все это — в лучшем случае — будет прочтено как деталь антиутопии, «нумера» из романа Замятина «Мы».

Сталин становится третьим в списке конкурса «Имя России». И мальчик в автолайне умненьким голосом втолковывает сестре услышанное от родителей: «Сталин был сильный. Всех построил».

Не было! не бы-ло! — со спокойной убежденностью говорят мне довольно молодые люди в ответ на упоминание о «большом терроре». Были всего лишь «партийные чистки». Миллионы жертв — придуманы врагами. И это говорится в двухтысячные годы. Слишком далекие от тридцать седьмого, слишком близкие к нему? Неужели вместо культуры, вместо истории у нас — прочерк?

Возможно, кому-то выгодно порождать мифы-мутанты, якобы взращивая национальную гордость. Выгодно — не помнить, не видеть, не знать. «Ведь молодой, сильный мужчина, поднимающий руку на заведомо неповинного, молодой мужчина, стулом или рукояткой револьвера избивающий старика или женщину, — ведь это существа извращенные, выпадающие из нормы. Где он был до той поры, пока не сделался профессионалом палачества, чем занимался? Ведь он жил среди нас».

Сегодня внуки жертв и мучителей едут в одном автобусе. Время — не линия, а горящая магма, со всплесками тенденций, убеждений и вер. Спит взрыв. Для нации амнезия — хуже смерти, многократная смерть. Она называется варварством.

«Прочерк» стремится устранить зияние в пространстве общей памяти. Он создан не для прошлого, а для будущего. Чуковская пишет — и сомневается, что прочтут: «Верили ли мы, что другое время настанет? Пожалуй, да. Безо всяких оснований, но верили. Ведь для веры основания не требуются».

«Прочерк» — книга последней надежды на воскресение. Ведь у автора от «великой» эпохи 1930-х остались только образы потерянных близких. Еще — сны, в которых ее муж по-прежнему жив: «...А то во сне придет и сядет // Тихонько за столом моим...» Еще — строки любимых погибших поэтов.

Еще — одиночество: «Я выбегала к ним: дома, без Люши, без Мити, мне всё опостытелo... Сидишь у себя — с кем ни сиди — и тебе ясно, что Мити нет; а сидишь где-нибудь у друзей и воображаешь: вот приду домой, а он дома!»

Нам от эпохи остался «Прочерк», который все это вместил. Вычеркнуть из исторической памяти, сознательно забыть преступления — преступно.

История чревата повторениями: либо мы прочтем «Прочерк», либо переживем его заново. Если переживем.

Федор ЕРМОШИН



### НАШ ГАСПАРОВ

Ваш М. Г. Из писем М. Л. Гаспарова. М., «Новое издательство», 2008, 452 стр.

**Н**овую книгу Михаила Леоновича Гаспарова «Ваш М. Г.» даже в наше ко всему приучившее время иначе как удивительной не назовешь. Хотя на первый взгляд есть уже целый ряд подобных ей: вслед за солидным томом писем Лотмана, изданным «Языками славянских культур» и недавно переизданным, не менее увесистым собранием переписки того же Юрия Михайловича с Борисом Андреевичем Успенским, выпущенным НЛО, письма первых лиц нашей великой филологии шестидесятых — восьмидесятых уже стали, похоже, неотъемлемой частью интеллектуального чтения. Но у Гаспарова и здесь все по-другому: может быть, сказался специфический отбор адресатов, а может быть...

Сказать, что эта четырехсотстраничная книга проглатывается «на одном дыхании», было бы неправдой: о слишком сложных материях идет здесь речь. Хотя сравнение с эпистолярным романом (разумеется, не в традиционном смысле, несмотря на то что все адресаты — женщины) сразу же напрашивается: недаром самой упоминаемой в ссылках после писем книгой являются «Записи и выписки» того же Гаспарова, получившие признание именно как художественное произведение.

Комментаторы отсылают к «Записям...» вовсе не случайно: именно там, как они справедливо полагают, читатель найдет разъяснения многих мыслей автора и ситуаций, в которых эти мысли рождались.

Кстати, коль скоро речь зашла о комментариях, необходимо сразу же отметить их точность и завидный профессионализм комментаторов. Что, в общем-то, и неудивительно: ведь это блестящие ученые разных возрастов и специальностей: это адресаты писем Нина Владимировна Брагинская, Наталия Сергеевна Автономова и члены редколлегии книги, взявшие на себя труд объяснить темные места в письмах к ушедшей еще до Гаспарова Ирине Юрьевне Подгаецкой.

Объяснять, кто это такие, думаю, нет никакой необходимости: если читатель взял в руки книгу Гаспарова, он, безусловно, знает его соавторов и, как теперь стало ясно, близких и настоящих друзей.